

Вивек Чиббер

ЗАПАД НЕ ПРИ ЧЕМ?

C. A. Bayly, *The Birth of the Modern World, 1780–1914*
Basil Blackwell: Oxford 2004, £19.99, paperback
540 pp, ISBN 978 0 631 23616 0

Каким образом и, что не менее важно, где обрела существование современная эпоха? Как показано в известном исследовании Хобсбаума о длинном XIX столетии, за движущими силами того периода — в число которых входили индустриализация, колониализм, глобальная финансовая интеграция, зарождение массового потребительского общества, усиление рабочего класса и антиколониальных движений — стояла двойная экономическая и политическая революция: первая сводилась к возникновению «мастерской мира» в лице Англии, а в роли второй выступала Французская революция, отзвуки которой не утихали в течение всей постнаполеоновской эпохи. Консолидация индустриального капитализма в Европе вызвала к жизни или оказала решающее влияние на преобразования в Азии, Африке и других регионах. К. А. Бейли в книге «Рождение современного мира» ставит перед собой задачу изучить этот же период в глобальном контексте: проследить «нарастание глобального единообразия в государственном устройстве, религии, политической идеологии и экономической жизни» в 1780–1914 гг., в то же время отмечая, что растущая взаимосвязанность и взаимозависимость могли «усилить ощущение различий и даже проявления антагонизма между людьми, принадлежащими к разным обществам».

Бейли трактует понятие «современность» в традиционном ключе — в широком смысле он подразумевает под современностью переход к индустриализации, экономическую глобализацию, массовое распространение национальных государств, а в их рамках — национальных идентичностей. Он признает наличие известной асимметричности в этом процессе: «Некоторые западные общества сохранили конкурентоспособность... благодаря взятым на вооружение методам организации деловых предприятий, ведения войны и публично дискутируемой политики». Европа раньше прочих континентов начала движение к современности и сохраняла самый высокий темп; западные правящие классы сумели обратить этот ранний старт

в геополитическое преимущество, установив реальный контроль за прочими регионами в Азии и Африке. В течение XIX века империалистический контроль над менее развитыми регионами укреплялся—формально, посредством аннексий, или неформально, посредством экономического доминирования; последствием этих процессов стало разделение мира на Север и Юг, сохраняющееся по сей день.

Признавая это превосходство, Бейли все же стремится утверждать, что преимущества западных держав были «случайными, интерактивными и сравнительно недолговечными». Он ставит перед собой цель «показать относительность „революционного перехода к современности“, продемонстрировав, что его осуществляли в разное время и различным образом всевозможные институты и идеологии по всему миру». Короче говоря,

В истории этого периода наблюдается немало разнообразных и по видимости взаимно противоречащих явлений. Смирясь с жестоким фактом западного доминирования, мы должны проследить взаимозависимость мировых событий. В то же время следует показать, что во многих частях мира это европейское доминирование носило лишь частичный и временный характер.

Каким же мог быть ход этой истории? Согласно Бейли, начало этой столетней дуге модернизации было положено в ключевые десятилетия 1780–1820 гг. Этот период, разумеется, уже давно признан как определяющий момент в европейской истории, но Бейли реконцептуализирует его как момент настоящего глобального кризиса, в течение которого по всей Евразии одно великое государство за другим становилось жертвой фискального перенапряжения, которое вело к политическому краху, а вслед за тем, в ходе взаимосвязанного процесса, к наступлению современной эпохи. Именно благодаря всеохватности этого кризиса оказалась перекроена вся карта глобальной экономической и геополитической власти: прежние архаические державы были оттеснены на обочину, а в качестве мировых держав возникали новые, более динамичные, могущество которых основывалось на современных институтах. Этот процесс, считает Бейли, начался с падения династии сеффидов в Персии в 1722 г.; далее следовало разграбление Дели Надир-Шахом в 1739 г., а затем потрясениям подверглись могольский, цинский, османский, французский, английский и австрийский режимы.

Разумеется, при такой аргументации проблема состоит в том, каким образом провести зависимость между глобальным кризисом XVIII века и развитием современных политических и экономических формаций. Зарождение современности невозможно объяснить одним лишь кризисом: фискальные кризисы, имперское перенапряжение, новые вызовы, встающие перед старыми державами, военные инновации—все то, что Бейли называет в числе факторов, ответственных за нестабильность—едва ли были для XVIII века чем-то новым. Все великие аграрные зоны евразийского материка за предыдущее тысячелетие неоднократно сталкивались с этими явлениями; однако никогда прежде падение империй или развитие торговли не связывались

с конкретными политическими формами современного государства или с бурным ростом экономики и производства в XIX в. — с эпохальным переключением экономических структур с сельского хозяйства на промышленность. Как же поступить Бейли или любому другому автору, пытающемуся связать кризисы конца XVIII века с приходом этих новых явлений, для того чтобы объяснить эту связь — что есть общего у этого кризиса и перехода к современности, совершенного почти всем миром?

Во-первых, следует признать тот бесспорный момент, что кризис конца XVIII века вовсе не ознаменовал собой наступление современности. Современные институты — в форме капиталистической экономики и буржуазного государства — существовали еще до кризиса, укоренившись в Великобритании после 1688 г. Кризис сыграл роль окружения, в котором эти более крепкие институты испытывались в сравнении со старыми, доказав свое превосходство, после чего со временем были либо заимствованы правящими классами, либо навязаны им. Десятилетия 1780–1820 гг. не возвестили о приходе современности, а ускорили ее распространение — сперва по Европе, а затем по всему миру. Поскольку дело обстоит именно так, любой анализ революционной эпохи следует начинать со взгляда в прошлое: проанализировать развитие капитализма в Англии, а затем признать, что эти процессы не только помогли преодолеть кризис, но во многих отношениях стали его причиной.

Поскольку современные капиталистические институты были сосредоточены в Великобритании, их воздействие не могло не сказаться на политических и экономических конкурентах этой страны. С течением времени им пришлось либо адаптироваться, проводя экономические и политические реформы, либо прогибаться под тяжестью конкуренции с политическо-экономической системой, имевшей колоссальное превосходство. В первую очередь именно непрерывное давление со стороны Англии ввергло почти всю Европу в цепь войн и финансовых кризисов и привело к краху их правящих классов. Именно благодаря раннему переходу к капитализму Англия располагала несопоставимо большими ресурсами, которые позволили ей в течение всего XVIII века вести одну войну за другой — а именно эти войны и довели ее главных конкурентов, Францию и германские государства, до кризиса. Войны, в свою очередь, проникли за пределы Европы, в страны Азии и Америки, обострив там политические конфликты и втянув их общества в европейскую орбиту.

Таким образом, Бейли заблуждается, изображая преддверие 1780-х гг. как уже наступивший глобальный кризис, зародившийся в Азии и Северной Америки, а затем распространившийся на Европу; точнее говоря, он приобрел глобальный масштаб именно из-за Европы. Похоже, что Бейли проецирует на более ранние эпизоды ту систему взаимосвязей, которая имеет более позднее происхождение. Именно процессы, проходившие в Европе в конце столетия, привели к тому, что Азия с ее периодами нестабильности, хронически повторяющимися по одному шаблону, попала в ловушку гигантского водоворота.

В Европе, как и повсюду, государства были втянуты в процесс геополитической конкуренции, интенсивность которой в течение XVIII века только нарастала. В ходе этого процесса те страны, которые могли скомпенсировать рост расходов соизмеримым увеличением доходов, сумели сохранить стабильность, а те, кому необходимых ресурсов не хватало, впали в кризис. Самым ярким из таких кризисов был французский, закончившийся революцией 1789 года. Но давление сказывалось и на Испании, которая оказалась на стороне проигравших в Семилетней войне и вскоре потеряла свои американские колонии, а также на Пруссии и на владениях Габсбургов. Англия же вышла из этого побоища не только без царапинки, но даже более сильной и жизнеспособной, чем прежде. После поражения Наполеона в Европе остались только две великие державы — Великобритания и Российская империя. А сорок лет спустя этот список сократился до одной страны. Тем временем Америка и большая часть Евразии тоже погрязли в конфликтах, а затем, за исключением США, они были формально или неформально поделены между европейскими державами.

Как же и почему английское государство обеспечило себе доходы, позволившие справиться с его противниками в течение XVIII и начала XIX вв.? Бейли согласен с общепризнанной теорией, что главным фактором стали внутренние экономические преобразования. Но в то время как традиционная историография считает источником британского могущества промышленную революцию, Бейли не готов подписаться под этим заявлением. Он отмечает, что показатели реального индустриального роста весьма сомнительны. Уровень экономического роста был намного ниже, а технологические прорывы имели куда более ограниченный масштаб, чем считалось прежде. Если можно говорить о настоящем промышленном рывке, то он произошел позже, во второй или третьей четверти XIX века. Для объяснения того, почему одним странам в XVIII веке повезло, а другим — нет, нужен другой механизм, заключает Бейли.

Он предполагает, что в течение XVII и XVIII вв. в северо-западной Европе происходила «революция трудолюбия», которая и обеспечила этому региону колоссальные экономические преимущества; что же касается индустриальной революции, занявшей большую часть XIX века, то она лишь воспользовалась плодами первой. Результатом этих предполагаемых преобразований стало не только увеличение валового продукта, но и скачкообразное повышение производительности по всему региону. Понятие революции трудолюбия (*industrious revolution*) как предвестника индустриальной революции ввел историк Ян де Врис, и Бейли, судя по всему, позаимствовал эту идею в более или менее неизменном виде. Де Врис, выдвигая свою концепцию, мотивировался необходимостью примирить два явно противоречащих друг другу факта: с одной стороны, в течение всего XVIII и начале XIX в. реальная заработная плата и, соответственно, покупательная способность застыли на одном уровне, а с другой стороны, именно в эту эпоху он находит изобилие свидетельств о возросшем потреблении. Если реальные заработки стояли на одном месте или снижались, то за счет чего увеличивалось

потребление в семьях? Де Врис предположил, что такую возможность обеспечила двухшаговая трансформация: во-первых, крестьянские семьи независимым образом претерпели трансформацию своих потребительских предпочтений — изменение вкусов, вызванную появлением на рынке новых, более экзотических товаров; во-вторых, те же самые семьи удовлетворяли новые потребности посредством перераспределения и интенсификации своего труда. Крестьяне увеличивали диапазон и количество потребляемых товаров, вследствие чего трудились дольше и прилежнее, чтобы заработать деньги, необходимые для удовлетворения новых потребностей. Результатом стало повышение спроса и производства товаров, несмотря на неизменные ставки заработной платы.

Самым сомнительным в этой концепции, даже если она верна, является то, что она объясняет все, что угодно, только не скачкообразное повышение производительности. На самом деле, когда крестьяне удлиняли свой рабочий день и трудились более напряженно, это нередко служило признаком кризиса на селе и, скорее всего, снижения реальной производительности. Бейли утверждает, что новые потребительские «пакеты», приобретаемые крестьянскими семьями, «в ходе взаимозависимого процесса способствовали еще большему повышению производительности и социальному удовлетворению», но ему не удастся проследить причинно-следственную цепочку, связывающую их с долговременным повышением эффективности труда и, следовательно, производительности. По-видимому, Бейли считает один лишь факт желания увеличить потребление достаточным для повышения производительности, даже не рассматривая альтернативную возможность принудительной интенсификации труда. Не менее неубедителен и его упор на товары роскоши как составную часть этого процесса — как он выражается, на «объективацию роскоши». Потребители таких товаров, очевидно, происходили из верхних и средних классов, которые, разумеется, сами ничего не производили. С какой стати повышение потребностей такого рода, на протяжении веков являвшихся константой евразийской истории, неожиданно бы привело к широкомасштабным преобразованиям производства, если раньше такого никогда не происходило, особенно принимая во внимание ограниченный объем и нишевый характер, присущие такого рода потреблению? Не предлагая никакого четкого механизма, связывающего желание увеличить потребление с повышением производительности, Бейли не в состоянии объяснить, каким образом «революция трудолюбия» могла привести к чему-либо иному, нежели интенсификация труда и усиление самоэксплуатации, представляющие собой полную противоположность тому, что он стремится доказать.

Польза от «революции трудолюбия» как концепции окажется еще более сомнительной, если мы рассмотрим, как ее использует Бейли. Анализируя способность Англии выжить в кризисе конца XVIII века и выйти из него глобальным гегемоном, он объясняет ее колоссальным превосходством английской экономики над соперничающими странами в смысле производительности. Но если источником английских преимуществ служили

экономические выгоды, созданные революцией трудолюбия, то, согласно аргументации Бейли, эта революция могла произойти только в Англии (и, может быть, в Нидерландах). И действительно, Бейли утверждает, что хотя в Азии и на Ближнем Востоке отмечалось ограниченное, но многообещающее движение в сторону революции трудолюбия, в этих регионах она так и не состоялась, потому что ее подавили старорежимные власти этих стран. А что же Европа за пределами Англии и Нидерландов? Французское государство в конце XVIII века испытало глубочайший финансовый кризис, который и послужил причиной для политического крушения старого режима и открыл дорогу революции. Следует ли из этого, что неудача революции трудолюбия во Франции была в конечном счете обусловлена крахом государственной власти, а если так, то чему приписать этот крах?

На самом деле, из этой аргументации неясно, почему экономический рост во Франции отличался меньшей динамикой, чем в Англии. Бейли истолковывает революцию трудолюбия в том смысле, что это был всеевразийский феномен, который в Азии не сумел развиваться и углубиться, но в северо-западной Европе продолжал набирать импульс. Однако, если мы изучим список факторов, которые приводит Бейли, объясняя преимущества «Европы» над Азией — более глубокие юридические традиции, более развитые финансовые институты, более серьезные военные возможности — то выяснится, что ни по одному из них ни Франция, ни другие страны Европы ничем не отличаются от Англии. Иными словами, даже если мы признаем, что упомянутые Бейли помехи препятствовали экономическому развитию Азии и, соответственно, дали Англии преимущество над ней, то все равно не поймем, почему от Англии отстала и Франция. Наоборот, если верить Бейли, Франция должна была разделять с Англией абсолютно все выгоды революции трудолюбия. И Бейли действительно на это намекает, когда признает, что революция трудолюбия вышла за пределы северо-западной Европы, охватив Германию и, надо полагать, Францию.

Так мы подходим к ключевой проблеме, связанной с использованием этой концепции для объяснения последствий великой волны конфликтов после Семилетней войны. Ниоткуда не следует, что те практики, которые составляют содержание революции трудолюбия, должны были ограничиваться пределами Англии и Нидерландов, и нужно отметить, что сам де Врис не налагает таких ограничений на распространение этого явления. Интенсификация труда с целью увеличения потребления наблюдалась по всей Европе — а также, возможно, и в Азии. Но если это так, то ссылки на революцию трудолюбия никак не объясняют становление Англии как доминирующей европейской державы и, соответственно, кризис во Франции и в других странах. Для того чтобы объяснить британскую исключительность совсем не нужно защищать ни индустриальную революцию, ни изобретенную Бейли революцию трудолюбия. Реальное различие скрывалось в британском сельском хозяйстве, неизменно вызывавшим зависть у европейских соперников, причем единственным другим регионом с сопоставимой динамикой развития были, вероятно, Нидерланды. К моменту «славной

революции» английские аграрные производители были уже не крестьянами, превратившись в полностью зависящих от рынка фермеров, и поэтому для своего выживания были вынуждены применять стратегии сокращения издержек. Вследствие этого в течение всего XVIII века в английском сельском хозяйстве наблюдался непрерывный рост производительности, в то время как Франция, Испания и Германия — главные конкуренты Англии — по-прежнему жили в условиях сдержек, налагаемых крестьянским характером производства, и усиленное внимание Бейли к «революции трудолюбия» не позволяет заметить это различие.

Впрочем, изменений в сельскохозяйственной структуре и соответствующей аграрной революции недостаточно, чтобы объяснить причины зарождающегося английского превосходства. Для него потребовалась еще одна трансформация, на этот раз в политической сфере. Она включала, разумеется, свержение абсолютистского государства в ходе «славной революции» и последующую передачу власти в руки класса землевладельцев, возглавлявшегося аристократами-вигами, которые укрепили свой экономический фундамент именно осуществлением капиталистических преобразований в сельском хозяйстве. Захват капиталистической аристократией власти в государстве — осуществленный благодаря численному большинству в парламенте и непосредственному контролю над местным самоуправлением и налогами — открыл дорогу к колоссальному усилению государства, которое, в свою очередь, способствовало его централизации. Таким образом государство сумело добиться резкого увеличения налоговых поступлений, ранее невозможного по политическим причинам. Это, в свою очередь, послужило основой для финансирования непрерывно развивавшейся военной машины, в первую очередь флота, которые в конце концов и сделали Британию повелителем мира.

Напротив, проблемой французского государства оставался крестьянский уклад в сельском хозяйстве, который между 1500 и 1750 гг. фактически не смог обеспечить повышения производительности труда, хотя производительность английского сельского хозяйства за тот же период удвоилась. Кроме того, доходы государства ограничивались сопротивлением налогообложению со стороны местных землевладельцев, которые, по-прежнему существуя в основном за счет феодальной ренты, полагали, что уплата крестьянами налогов монархии ограничивает их собственные доходы. Кроме того, французские аристократы в куда большей степени зависели от синекур, предоставлявшихся абсолютистским государством, и стремились к тому, чтобы денежные поступления перетекали в первую очередь в их карманы, а не в государственную казну. Способность Англии избавиться от оков экономических и политических структур старого режима и обеспечить себе фискальное превосходство над Францией в конечном счете и принесла ей победу, в то время как Франция была ввергнута в кризис.

Следовательно, обе революции, произошедшие в Англии в самом начале современной эпохи — экономическая и политическая — коренились в развитии капитализма. Даже Нидерланды не знали такой радикальной трансформации всей политическо-экономической системы, выстраивавшейся

вокруг буржуазных социальных отношений. А выросший на этой основе геополитический колосс, в течение всего XVIII и XIX вв. неустанно оказывавший мощное давление на соперников, породил волну модернизационных реформ по всей зоне господства британских конкурентов. Британия была тем эпицентром, из которого с конца XVIII века расходились ударные волны. И этот процесс едва ли представлял собой что-то иное, нежели открытые капиталистические преобразования. Хотя автор настойчиво уверяет читателя в своем нежелании отрицать, что рассматриваемый им век представлял собой «век капитала», этой категории практически не нашлось место в аналитической схеме Бейли. Используемое им довольно туманное понятие «революции трудолюбия» не представляется подходящим для объяснения тех эпохальных сдвигов, которые происходили в то время. Причина того, что наполеоновская эпоха послужила вратами в современность, заключается в том, что уже насажденные в одном из регионов мира институты, фактически современные по своей природе, теперь распространялись по всему земному шару. Развитие капитализма в Англии ознаменовало приход новой эпохи именно потому, что оно изменило правила игры как в отношении экономического выживания, так и с точки зрения геополитического успеха.

Хотя выдвигаемое Бейли истолкование экономических преобразований, проходивших в наполеоновскую эпоху, сомнительно, проведенный им анализ их последствий — особенно на уровне государства — выглядит более успешным. Французская революция и последовавшие за ней войны стали для европейских правящих классов, а затем и для правящих классов по всему миру убедительным доказательством того, что отныне положение вещей определяется модернизацией. Развязка революции породила волну реформаторских усилий, исходящих сверху, движущей силой которых была инициатива государственного строительства, охватившая весь континент. Сам Наполеон внес могучий вклад в проведенные им реформы в Западной Европе. Но одновременно с этим массовая мобилизация, проводившаяся оказывавшими ему сопротивление европейскими элитами, углубила проникновение государства в гражданское общество и расширила диапазон административного профессионализма. Однако ни одна функция не привлекала к себе столько внимания, как военные возможности государства. Увеличившиеся государственные доходы направлялись в первую очередь на пополнение арсеналов тех монархий, которые вели борьбу с французскими армиями. Европейские державы вышли из цикла наполеоновских войн более крупными, мощными и вооруженными до зубов.

Двойной процесс милитаризации и государственного строительства был многозначительным во многих отношениях. Одно из непосредственных последствий состояло в том, что он способствовал углублению национальных и религиозных идентичностей как в Европе, так и по всему миру. С одной стороны, сам факт присутствия на родной земле мародерствующих иностранных армий укреплял ощущение общности у тех, кто нес на себе всю тяжесть испытаний. В то время как некоторые части Германии и Италии ощущали сродство с Революцией и ее целями, тот факт, что последняя экс-

портировалась на пушечных стволах и штыках, порождал сопротивление — а через него и зачатки национального самосознания. Но одновременно с тем само превращение фронтов в границы не могло не закалить местную идентичность. В какой степени эти процессы затрагивали крестьян и городской рабочий класс, мы можем только догадываться. Но среди элит и интеллектуальных слоев их влияние в качестве вех национальной идентичности прослеживается гораздо четче. Углубление национальной идентичности происходило не только в Европе, но и по всему миру. Бейли решительно отвергает диффузионную модель национализма, согласно которой концепция национального государства зародилась в Европе и распространилась оттуда по всему миру. В понятии национализма, считает он, нет ничего врожденно «западного». Национальное самосознание возникло более-менее одновременно в Евразии, Северной Америке и Африке. Чтобы обосновать свое заявление, он весьма тщательно проследживает трансформацию политической культуры в тех частях мира, где элиты и интеллектуальные слои поднялись на выполнение задачи политической реконструкции — что происходило как в Европе, так и в более развитых регионах Юга.

Упоминая различные подходы, объясняющие возникновение национализма, Бейли все же вполне откровенно считает, что этот феномен по сути является последствием государственного строительства в его всесторонних проявлениях. И в этих рамках он в первую очередь выделяет политические завоевания, военные конфликты и колониционную миссию — все компоненты воюющего государства. Бейли снова и снова возвращается к мысли о том, что всплеск милитаризации, последовавший за великим кризисом 1780–1820 гг., был основным двигателем, вызвавшим рост националистических настроений, особенно среди правящих классов.

Мнение о том, что национализм был органически связан с местными процессами, а не «экспортировался» с Запада, является вполне обоснованным. Даже если конкретные доктрины и теории нации действительно импортировались в запаздывающие страны и там оказали влияние на местные элиты и интеллектуальные слои, едва ли отсюда следует, что националистическая идеология на Юге была каким-либо образом позаимствована у Запада. Политическая элита вполне могла находиться под влиянием той или иной западной доктрины, однако национализм становился реальной идеологией лишь в том случае, когда он заявлял о себе как о массовом явлении. В условиях, когда правящие классы уделяли усиленное внимание построению жизнеспособного и сильного государства, ужесточению юридических границ, мобилизации населения вокруг строительства непрерывно разрастающихся вооруженных сил, национализм наверняка бы возник даже в том случае, если бы доминирующие группировки Юга никогда бы не прочитали ни одного западного трактата. И все же, вероятно, мы не ошибемся, если скажем, что зарождение национальных идентичностей на большей части Юга в реальности набрало достаточный импульс начиная с середины XIX века или даже с 1870-х гг. — о том же свидетельствуют и доводы Бейли — то есть намного позже подъема национального самосознания в Западной Европе и Америке.

То, что национализм на Юге развивался с опозданием совсем не удивительно, учитывая, что расстановка сил после Венского конгресса задала последовательность событий, закончившуюся подчинением большей части остального мира Европе, в первую очередь Англии. После поражения Наполеона Великобритания превратилась в экономическую державу, не знающую в Европе соперников и опирающуюся на самый сильный в мире флот. Полвека, прошедшие между Ватерлоо и разделом Африки, стали известны как эпоха «империалистической свободной торговли». Но британское экономическое доминирование не только защищалось военной мощью; напротив, последняя часто служила средством для приобретения новых экономических выгод. Так, англичане под угрозой силы вынудили турок снизить тарифы, защищавшие их производителей; попытки китайцев пресечь поток опиума в их порты немедленно получили вооруженный отпор — и не один раз, а целых два. Даже преданность принципу свободной торговли в высшей степени определялась соображениями выгоды, так как купеческая логика прежних столетий сплошь и рядом заставляла забыть о показной приверженности доктрине «laissez faire».

Двойной напор милитаризации и экономического подчинения только усугублял кризисную ситуацию в периферийных регионах. Бейли основное внимание уделяет Азии, справедливо отмечая, что было бы неверно рассматривать годы между Ватерлоо и разделом Африки как паузу во внешней европейской экспансии. Были целые десятилетия, когда северо-западная Европа не только вела за собой всю Евразию, но и сохраняла лидирующее положение путем завоеваний (в Южной и Восточной Азии) или военной угрозы (на Ближнем Востоке). Более существенно то, что еще до середины столетия произошел заметный сдвиг во взаимоотношениях между элитами европейского происхождения и местным населением в новооснованных колониях. Бейли отмечает, что даже в первые десятилетия XIX века европейцы в Северной Америке, Южном полушарии и в Азии нередко стремились ассимилировать местные группировки в экспансионистский проект. Но стремление к увеличению доходов влекло за собой ужесточение колониальной политики, и с 1850-х гг. колонизаторы стали полагаться на откровенную экспроприацию, и все в большей степени — на геноцид. Уничтожение местного населения стало обыденной практикой еще до того, как европейцы поделили между собой африканский континент. Вследствие завоевания, уничтожения жителей и политического подчинения любая возможность параллельного процесса государственного строительства на Юге была на десятилетия вычеркнута из повестки дня.

Во второй половине книги феномен национального самосознания и национальной культуры, который прежде подавался как следствие изменяющихся материальных условий, все в большей степени выступает в роли перводвигателя как такового. Особенно это заметно в отношении двух ключевых вопросов: взрывного размаха колониальных завоеваний в конце столетия и распространения радикализма в среде рабочего класса. В отношении первого явления Бейли перечисляет ряд причин, которые традиционно

называются в качестве мотивов империализма викторианской эпохи — это возникновение гигантских деловых домов, стремящихся поставить под свой экономический контроль новые регионы; влияние «людей на местах» («*man on the spot*»), о котором говорят Робинсон и Галлахер; нажим со стороны торгово-меркантильных интересов и т. д. Однако по модели Бейли империализм викторианской эпохи был по своей сути порождением европейского национализма, а вовсе не растущей политической и экономической власти капиталистов. Не случайно, пишет Бейли, что «новая фаза имперской экспансии» совпала по времени с «окончательным формированием европейских, американских и японского национальных государств и ростом национальных движений за пределами Европы».

В реальности же раздел Африки происходил в контексте, вероятно, глубочайшего и самого продолжительного экономического кризиса XIX века; его самым ощутимым эффектом в краткосрочном плане стало перегораживание всей Европы тарифными барьерами — власти старались защитить внутренние рынки от компаний конкурирующих наций. В этих условиях маргинальное влияние даже небольших достижений в смысле доступа к рынкам было весьма существенным. В то время как рост продаж британских фирм в Европе замедлялся, африканская доля в их экспорте выросла с 4,3 процентов в 1890 г. до 8,3 процентов в 1906 г. В абсолютных цифрах, если брать только Капскую колонию, Наталь и Египет — главные форпосты Великобритании в Африке — объем торговли с ними (22,5 млн фунтов) превышал британскую торговлю с Китаем и более половины торговли со всей Латинской Америкой, как Кейн и Хопкинс указывают в своей книге «Британский империализм» (Cain and Hopkins, *British Imperialism*, 1993). Для французов колонии тоже вскоре стали излюбленным получателем товаров и капитала. К 1896 г. колониальная империя почти сравнялась с Германией в качестве второго по величине торгового партнера Франции, занимая третье место по объему французских капиталовложений. За период 1896–1913 гг. торговля с заморскими владениями более чем удвоилась.

Более того, весьма существенно, что за исключением Бурской войны, расчленение Африки оказалось делом недорогим. В годы, изучаемые Бейли, европейским государствам не пришлось сильно тратить на приобретение африканских территорий вследствие крайнего неравенства в силах. Стоит отметить, что единственными областями колониальной экспансии после середины XIX в. оказались те, в которых современные государственные структуры либо не окрепли, либо развалились. Таким образом, если в абсолютном выражении затраты на колониальную экспансию были низкими и распределялись по широкому спектру, в то время как всю прибыль получали небольшие группы, не была ли эта экспансия непосредственной реакцией на сужение рынков, снижение потенциальных прибылей и экспансию капитализма в странах, запоздавших с развитием?

Применение силы за пределами национального государства, по мнению Бейли, отчасти являлось также паллиативным ответом на рост политических напряжений внутри страны, в частности, на угрозу радикализации

рабочего класса. Но для того чтобы понятие «социального империализма» получило реальную трактовку, в наличии должна была быть реальная угроза, исходящая снизу — от социальных сил, добивавшихся своей кооптации. Однако, даже не пытаясь анализировать рост рабочего движения в этот период, Бейли разделяется с этим вопросом менее чем на трех страницах. По-видимому, он считает, что рабочий класс как политическая сила в XIX в. оставался умозрительной идеей, не получившей практического выражения. Соответственно, большинство трудовых конфликтов в его трактовке вызваны деятельностью относительно привилегированных рабочих, которые не добивались приобщения низших классов к социальному порядку, а стремились урвать себе кусок побольше. Влияние социалистической идеологии на рабочий класс, согласно Бейли, было ничтожным, нередко переплетаясь с существующими религиозными и национальными мифологиями или приспосабливаясь к ним. Также, по его мнению, и за революционными всплшками в Европе после Первой мировой войны стояла вовсе не мощь рабочего класса, возросшая в викторианскую эпоху: революции были вызваны не радикализмом пролетариата — наоборот, радикальные рабочие были порождением революционного кризиса.

После этого пролетариат начисто исчезает из книги. Глубокий сдвиг в политических и экономических отношениях, наблюдавшийся в последние десятилетия XIX века непосредственно как результат мобилизации рабочего класса — трансформация индустриальных отношений, развитие социального страхования и социального обеспечения в широком плане, возникновение массовых политических партий левого толка — все это игнорируется. Читатель не в силах найти никаких объяснений того, почему начиная с 1917 года почти вся Европа ухитрилась на два десятилетия погрузиться в самый свирепый классовый конфликт современной эпохи. Социалистические партии пришли к власти не только в России. По всей западной и центральной Европе — начиная от восстаний в Германии, Австрии и Венгрии и кончая заводскими советами в Италии — происходили бунты, представлявшие серьезную угрозу сложившемуся порядку; с самых последних месяцев самой войны ключевой проблемой было подавление восставшего рабочего класса. Даже в странах Юга возникали воинствующие рабоче-крестьянские организации; но Бейли почти не упоминает даже мексиканскую революцию, самый яркий пример этого явления за пределами Европы.

Действительно, массовое участие рабочих в левом движении нередко являлось реакцией на разрушение социального порядка, а не его причиной. Но сами по себе подобные сдвиги приводили только к недолгим взрывам народного недовольства — голодным бунтам и т. п. Для того чтобы кровопролитная война вылилась в десятилетия классовой борьбы, потребовалось наличие организаций, которые не только примкнули к растущему недовольству, но и управляли им, придавая ему стратегическое направление и подпитывая его в течение длительного времени. Первая мировая война стала первым крупным конфликтом, расчистившим путь именно для таких организаций, опиравшихся на урбанизированный рабочий класс,

к тому, чтобы переписать условия политической состязательности в Европе и во всем мире—тем самым сигнализируя об эпохальных изменениях политической структуры в современном мире. В 1918 г. пролетариат заявил о себе как о ключевом акторе на политической сцене; столетием раньше он вообще был на ней почти не представлен. Бейли не прослеживает этот процесс, поэтому читателю остается непонятно, каким образом взрывной рост пролетариата в начале XX в. привел к тектоническим сдвигам в политической динамике между двумя кризисами, которые задают временные рамки данного исследования. И это очень странно, поскольку внимание к таким изменениям должно было бы составлять самую суть данного проекта.

В таком случае, что же остается от попытки Бейли оспорить привлечение промышленного капитализма в качестве организационных рамок для понимания истории XIX века? В аналитическом плане результат, как отмечалось, сводится к тому, что Бейли старается объяснить ключевые явления этого периода—становление Великобритании как ведущей европейской державы, подчинение незападного мира европейским империям, рост рабочего движения, и наконец, кризис, разразившийся в начале XX века войной. При появлении экономических факторов они понимаются не как сугубо капиталистические силы, а в качестве их более нейтральных аналогов—торговли, обмена, «революции трудолюбия» и т.д. Возможно, любопытнее всего, что чем ближе к XX веку, тем автор придает им все меньше значения: чем дальше заходит рассказ, тем меньше места в нем занимают капитализм и индустриализация. В результате в заключительной трети книги повествование Бейли все сильнее смахивает на историческое описание такого рода, какого он явно хотел избежать—на серию фрагментарных зарисовок вместо «взаимосвязанности и взаимозависимости», заявленных в качестве его цели. Что еще более важно, все это приводит к тому странному результату, что капитализм исчезает из рассказа Бейли более или менее в обратной пропорции к его распространению по земному шару. Вследствие этого именно тогда, когда мировая экономическая система приобретает наибольшее значение в качестве истолковательного принципа—то есть к концу рассматриваемого периода—она совершенно пропадает из его анализа.

Перевод с английского Николая Эдельмана